

Федор Абрамов трижды бывал во Франции: в 1968 и 1974 годах в туристической группе, а весной 1976 года один — по приглашению Министерства культуры Франции и издательства «Альбен Мишель». Впечатления от последней поездки, когда он объехал почти весь юг страны, легли в основу задуманного цикла «Рассказы о Франции».

В архиве писателя сохранились две записные книжки, записанные почти ежедневными набросками и попутными размышлениями. По возвращении домой он составил тезисы будущих рассказов (их более двадцати), сделал много заметок. В последующие годы он вновь и вновь возвращался к задуманному циклу, уточнял его состав и композицию.

Абрамов не успел завершить начатое. Десять лет назад, 14 мая 1983 года, его не стало. Но и сохранившиеся черновые наброски передают впечатления и размышления писателя о Франции и России, о культуре, религии, о благе и издержках технической цивилизации, о загадках человеческого поведения, о путях развития современного мира.

По записным книжкам (полностью они будут опубликованы в архаическом альманахе «Белый пароход») можно восстановить день за днем ход путешествия и встреч Абрамова. Необычен был день прилета из Москвы в Париж. Самолет опоздал на несколько часов, и это дало возможность писателю сразу «познакомиться с нравами французской прессы». В вечерней газете («Франс суар») появилась короткая заметка: «Федор Абрамов, советский писатель, о котором восторженно отзывался Солженицын, должен был отменить свою поездку в Париж, так как ему не разрешено было покинуть Ленинград».

«В О ФРАНЦИЮ меня пригласили сразу две организации: Министерство культуры (в тот год во французских лицах и на факультетах славистики изучали двух советских писателей — В. Шукшина и меня) и известное издательство «Альбен Мишель». И я представить себе не мог, что в аэропорту меня никто не встретит, что я окажусь в аэропорту Орли в совершенном одиночестве, как Христос в пустыне. Адресов у меня не было, говорить по-французски я не умел — что делать?»

Долго, по крайней мере так показалось мне, стоял я в огромнейшем зале аэропорта с занавесью проножки своих недавних спутников по самолету, которые шумным потоком катили к выходу. Наконец я остался совсем один. Полицейские, проходя мимо, стали подозрительно приглядываться ко мне. Я начал нервничать. И тут вдруг я увидел картину. Картина редкая. Картина шагающая. Широко, как колхозница, но широкая плеснированная юбка... Палка. На палке плакат: иду Федора Абрамова. Я с радостью ныкнул ей навстречу. Марина, моя будущая переводчица и гид.

— Как я сразу не догадалась, что русский, приехавший во Францию, не хозанин.

— Но и вы, по-моему, тоже русская.

Марина изумленно обернулась.

— Как вы узнали?

— Как? По отеческой встрече. Корявая французка едва ли начнет отчитывать гостя с первой минуты встречи.

Хорошо это или плохо, что переводчином и гидом оказалась русская, не знаю. Но Россия с первой минуты нашей поездки прочно поселилась в нашей машине. Ибо, что бы мы ни смотрели, где бы мы ни были, о чем бы ни говорили, всегда в конце концов возвращались к России. Да у нас и путешествие-то, если говорить откровенно, проходило под девизом: «Россия во Франции».

Марина, когда я совершенно случайно сформулировал этот девиз, по первости, было, негодующие засверкала своими черными глазами:

— Не хочу! Сыта я этой Россией.

— И, подумав, шегольнула необычно в лексиконе блатный словечком, которое она наверняка услышала от кого-то из русских туристов: — По завяжу.

— Но вы же не знаете России!

Марина родилась во Франции, в Советском Союзе была один раз, да и то всего десять дней.

— Я не знаю России! Да эта Россия самая моя большая беда! Из-за этой России я — ни русская, ни французка. Непонятно? Мои дорогие предки — так, кажется, у нас зовут родителей — были помещенные патриоты. Ну и патриотично воспитали свое единственное дитя, то есть вас — очень покорную слугу. А что мне делать с этим русским патриотизмом во Франции? И вот так я и сижу всю жизнь на двух стульях. Французы принимают меня за русскую, вы, русские, — за французку. Поэтому я избрала своей родной прародиной современного человечества — Грецию. В этой благодатной стране я просто чувствую себя человеком. И вообще прошу иметь в виду, что я убежденная космополитка.

Однако именно эта убежденная космополитка, когда мы приехали в С., повела меня первым делом к русской церкви. Велико построенная. Но тут я ощутил Россию Россией. За церковью — кладбище русское. Знатные фамилии. И художники. Много русских во Франции. Не помянула ли от этого Европа, Франция?»

Подводя итоги поездки, Абрамов выделил как самое сильное впечатление историю «о том, как русские снарядили (пробыв все кордоны) человека на похороны».

ЗАРАЗИТЕЛЬНАЯ СИЛА Добра

Нам не повезло с самолетом. И это имело два последствия: возможность познакомиться с нравами французской прессы и возможность еще раз узнать, что такое русская душа.

А было так. В Шереметьеве, на аэродроме, вдруг на глаза попался старик — лысый, сутулый, с заплаканными глазами, с расстроенным лицом. Кто? Откуда?

Летит во Францию на похороны сестры. Сестра — владелица известного русского ресторана в Париже, чуть ли не единственного, который не прогорел. Каждый год с мужем приезжает

В тот же день писателя поразило попутчик-старик, который летел в Париж на похороны сестры. О нем задуман рассказ «Заразительная сила добра». Тогда же побывал Абрамов на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. А вечером встречался со студентами.

Дальше — совсем необычное поведение человека, приехавшего в Париж, да еще поселившегося в гостинице в одном из лучших кварталов (Латинском). Казалось бы, ходи, смотри, пользуйся случаем. Нет, Абрамов сидит взаперти или в лучшем случае в Люксембургском парке и читает то, что ему было недоступно в России: на шумевшую в те годы книгу «Стрелять Тихого Дона», где опровергался авторство Шолохова, книга Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ», «Ленин в Цюрихе», «Болалас теленок с дубом»), журнал «Континент». Записал книжка пестрит выписками из протестантского и попутными оценками, спорными замечаниями.

3 мая он уезжает с гидом-переводчицей на юг Франции. За пять-шесть дней он побывал в Ницце, в Канне, Монте-Карло, Марселе, Авиньоне, безуспешно разыскивал в Грасе дом, где жил Бунин, побывал в музеях Шагала, Пикассо, в городках, где жили Сезанн и Ван Гог, заходил в католические храмы и соборы, в русские церкви и почти во всех городках посещал русские кладбища.

6 мая Абрамов назвал одним «из самых интересных и счастливых

дней» в своей жизни. Тогда он встретился с французским Михаилом Пряслиным, побывав на ферме, где его поразила «трудающийся граф». Многие впечатления того дня отразились в рассказах «Клятва», «Русская Катя», «Граф-фермер», «Французские отшельники». Надолго запомнились ему беседы с Луи Мартинезом — гостеприимным преподавателем университета в Эксе.

8 мая он возвратился в Париж. «Жара страшная. А я с 9 часов по 12 ночи на солнце, с книжкой». В день Победы, 9 Мая, его потряс Блошиный рынок: «Веками, народной Францией пахнет». О том — рассказ «Жак-дурочок».

10 мая — снова поездка в провинцию. Больше всего там восхитила его «часовня, расписанная Матиссом: «Небеса, перенесенные на землю».

По возвращении в Париж, после посещения Сен-Дени (квартала протестантов) и Орно-театра, появляется запись: «Ужас. На что способен человек. Гадко. Испортил себе все. Такой пошлый был». Но тут же уверял себя: «И все-таки правильно. Надо было сходить. Что такое человек? Где его потолок? Где подвал?»

Встречался писатель в те дни с многими людьми — студентами, преподавателями, рабочими, фермерами, эмигрантами, коммунистами. Впечатлений хватило на целую книгу.

Сохранилось разнутое вступление, которым должен был открываться задуманный цикл.

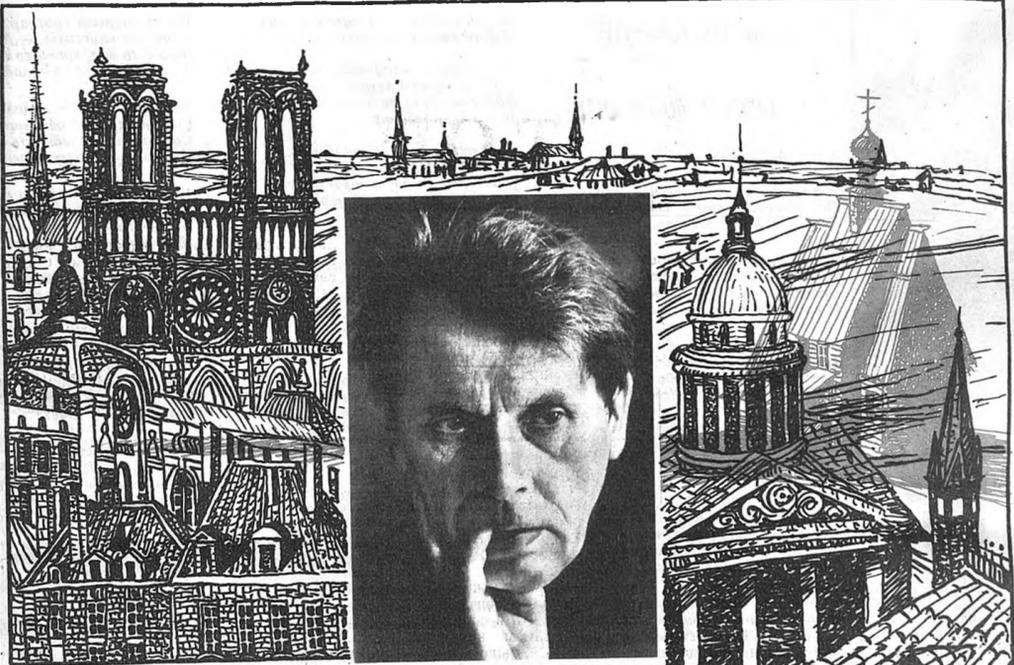


Рис. Ирины ШИПОВСКОЙ

«Никогда так не чувствовал — везде люди одинаковы»

Из французского дневника писателя

в Москву и каждый раз вызывают его из Казахстана в Москву и живут с ним в гостинице, платя огромные деньги.

А кто старик? Как он оказался в Казахстане?

После войны вернулся на родину, прожил свыше двадцати лет во Франции. Чувство вины — когда-то бежал в потоке эмигрантов — и единственное желание — заглядеть грех перед родиной. Поэтому-то не просился во Францию к сестре (как можно)?

А тут вдруг телеграмма от шурина — умерла сестра. Приезжай на похороны.

А как на похороны? Во-первых, где деньги? Бухгалтер, оклад — 80—90 рублей. А главное — виза, паспорт. Как радиобить их за два дня — ведь все известно: назв бюрократизм: месяц минимум надо оформлять паспорт. Да и выпустят ли?

И вот заплакал-поплакал дома (нет дорожки сестры. Единственная) и пошел телеграмму на почту: безмерно упит горем, но болею — не хватило смелости сказать, что паспорта не оформил.

А на почте как раз начальник учреждения. Что с вами? Чем убиты? Так и так, сестра умерла.

И вот чудо: начальник берет за дело. Мобилизует рабочего, секретаря райкома. Он, начальник, рабоче — и все в горьком. Из горькома звонит в обком, а там ничего — выходной день. Тогда все, и начальник учреждения, и секретарь горькома, и др., не теряя ни минуты, — на аэродром. Перед этим дают деньги.

Теперь — в Москву. Но разве можно отпустить одного растерянного, вставшего чуть ли не в маразм старика? И опять чудо! В Москву едут со стариком сотрудники обкома, МВД.

Выхлопатели, оформили документы за один день. За один день добились визы от французского посольства.

Старик приехал на аэродром за несколько минут до отлета самолета. И тут выясняется, что у него 400 рублей денег. Жена первого секретаря советского посольства во Франции (едет к мужу — на операцию по поводу почек) говорит: «Вы потеряете деньги. Нельзя вывозить за границу. Надо немедленно обменять».

Сопровождаем старика к начальнику таможи — опять скопом, — сдаем деньги под расписку.

Сели в самолет. Прилетели в Париж: старика никто не встречает. А он нам все ушн пропел о сестре, о чем. Говорил: позвали. Телефон не помнит.

Да не морочит ли он нам голову? Еще больше подозрений, когда везем его к дому сестры: у старика не оказалось ни сантимов, и пришлось нам везти.

Крутили, крутили по Парижу — забыл адрес сестры. И опять подозрение. Наконец заехали в какой-то переулок. Толпа в черном у подъезда. Муж сестры с родственниками и близкими. Собрались на кладбище — опять случайность. И тут старик узнал дом сестры. Вышел, пошел в объятия старика шурина и про все забыл. Забыл отдать мне долг, забыл про все... Про обещание устроить обед в ресторане... Мы развели руками с Мариной и уехали...

История со стариком меня потрясла. И, конечно, не проявление случайностей, хотя она вся на случайностях. Нет, коллективизм русских душ. Проявлением доброты русской души. Могу и я нас, если захотят. Могу все сделать сами люди, стоит только захотеть. Поразила бескорыстием людей, их сочувствием...

— Нет, — сказала Марина, — во Франции визу получить можно при желании за день. Но такое бескорыстие, такая доброта во Франции невозможны.

Но Абрамов, как всегда, был далек от идеализации русских. В ряде замечок к рассказу он с горечью писал: «Вот что могут сделать русские, когда захотят. Так почему же мы редко хотим». «Человечность». Но проснулся и умерла. «Ах, если бы

почаще и на большие дела подымалась сила, заключенная в нас».

Из других впечатлений больше всего заметок и размышлений вызвали у писателя русские кладбища.

«Невеселы, тоскливы русские могилы. Причем все без исключения. Неужели они и мертвые о России мечтают? Неужели это оттого, что их последней мечтой была Россия?»

И это относилось ко всем без исключения: видел ли я богатые кресты, бедные... Но особенно несчастным был Герцен...

...кладбище под Ниццей. В горах. Над Средиземным, вечно голубым морем. Нету русских... И вдруг — русский мужичонко, по какой-то случайности натянущий барский сортук с борозды, с угловатой осканкой. Выделяется. Чужеродная фигура. Подхожу ближе. И что же прочитал? Герцен... Я долго стоял... Все чинно, чисто. А он с головы до ног в зеленых потоках. Бронза дешевая окислилась? Не хватило денег? Нет, то Герцен плачет, заливаясь. Что делать ему? Отец русского социализма. Ни одного цветка... Ни одного следа. Забыт. Ни один соотечественник не посетит...»

«Я приходил на кладбища как русский. С великой болью в сердце. Такой катастрофы не разразилось ни над одной страной. А 66 миллионов убитых внутри. Снова удивляюсь: как живые?»

«Живые, знаю, что меня не приняли бы. А я прощаю. Я принимаю Вас, у меня нет вражды и ненависти в сердце. Я — христианин. (Когда я почувствовал себя христианином.) Когда проходит ненависть... Россия. Почему ты такая? Кто начертал тебе этот крестик? Кто сделал нас такими? Какова наша собственная вина? Бунин хотел это понять, но и он, как С., был ослеплен ненавистью».

«Русские могилы, русские кладбища по всей Франции.

Открытие: там вся философия русская. А я-то думал, куда пропала. Должен был догадываться.

И я ходил, глядясь, вчитываясь. Не было ненависти у меня. Не скажу — братья, но грусть, тоска, беспредельная нечаль по поводу России, русской истории.

Особенно потрясли могилы русских художников. Гордость наша, слава наша... Коровин, Малевич... Как они покоряют? Лежит под тоненьким деревяным крестиком, окрашенным в желтую краску, несравненный Коровин. А Малевич и того хуже — своей могиле не имеет. Не по карману место на кладбище, дорога французская земля. Такого у нас нет. В чужой могиле нашел последнее пристанище.

Ходить, бродить по русским кладбищам Европы (не только Франции) и невольно начинаешь думать: а может, оттого умна французская земля, что русские мозги удобрили ее почву. Америка ввозит мозги: А мы свои топчем... При Ленине 200 профессоров вывезли. Что за революция, которая уничтожает мозги нации... Да ведь эта работа и теперь продолжается...»

КЛЯТВА

Во Франции — и гречневая каша. Не анекдот ли? А между тем у Луи была подана гречневая каша. И дети — трое — упивались ее за обе щеки, так что я сразу попал как бы в Россию. И разговор был тоже на русском языке... Жена, даже дети...

Но все остальное — Запад.

Луи с гордостью показал свой обояк, купленный на средства... Комната для детей. Сад, сделанный им самим. Подвал... Но гордость дома была библиотека. В провинциальном городке — мыслимо ли такое? У кого из нас?

Ученик Наскаля... Портрет бабушки.

— Кто это?

— Это моя казна. Бабушка. Я ведь клятвопреступник.

— Я не принял всерьез его слова.

— Нет, нет, это действительно так...

И дальше он рассказывал о встрече с бабушкой, все родственники которой

погибли в междусобище, от политики. Одних убили красные, других — фашисты.

Умирающая бабушка взяла слово: не участвовать в политике.

— Я дал клятву. А потом нарушил. Я остался нейтралом... Но надо бы отказаться от русской литературы. Ей чужд нейтралом. А я не мог... Единственное — я против крови. Но так ли уж я нарушил клятву? Смысл бабушкиных заклинаний: чтобы я выжил, чтобы не было больше крови. А можно ли стоять в стороне?

Луи действительно не состоит ни в одной партии. Но всю ночь ту — совсем-совсем как русские — мы проговорили о политике.

КАТЯ ИЗ-ПОД ИРКУТСКА

Сказал француз снова возвращается на землю. Да, да, общая тяга к земле везде. Коммуны интеллигентия организуют. Взывает к прошлому, к первобытности. Но тут: сельскохозяйственный труд стал квалифицированным. Зарплата примерно такая же.

Прошляна. 6 бутылок вина: обязательно в Ленинграде... Мы с Россией должны жить в мире. Может, и войны второй не было бы. Косась, я не довел это вино... Его распили француз...

Смотрел вслед: горделивый взгляд человека знающего себе цену.

И опять — Михаил. Везде, всюду Пряслины...

Не спрашивал про биографию. Тяжело: кажется, отца убили на войне. Но сколько в семье осталось — тоже не спрашивал. И не спрашивал про заработок. Об этом у французам говорить не принято.

Никогда так не чувствовал: везде люди одинаковы.

Восхищаясь благоустроенностью французской земли, Абрамов постоянно сопоставлял ее с нашей запущенностью. «Дороги великолепные, как парк, земля. А почему у нас дикость?.. Два недели мы катались... Все хорошо. Через поля. Через деревушки. И я дивился красоте Франции. А в Новгородчине?.. Сперва восхищаясь: нам бы так. А потом я закусал по дикости... И мне показался великим счастьем, что у нас есть тайны. Земля без тайн И то же между против и в Германии...»

Одновременно он задавал вопрос: «Неужели все так рационально на французской земле? Неужели нет никаких загадок, тайн?» Оказалось — есть.

Я перестал есть. Слушал, как Катя оказалась во Франции.

Все просто. Голос звенел, как вода в пороте: учился в Московском университете, уехала сюда.

— Как живешь? Домой хочу.

— А знаешь, как я спасаюсь, когда мне совсем невмоготу? Хожу на русское кладбище. Только это, наверно, ужасно. Я ведь пионеркой была, комсомолкой. А тут хожу по могилам. Все баронессы, графы, князья. Ненавидеть бы их надо. А у меня нет никакой ненависти. Для меня все это русские люди, изымающие на чужбине.

Помолчала и совсем по-бабьи добавила:

— У меня-то всегда есть возможность вернуться на Родину. Да я так и сделала — вот выращу детей до двадцати лет и скажу: живите как хотите, а я домой. Я все сделала для вас как мать. Да, у меня не отрезаны пути в Россию, а им-то как было... Им-то возврата не было.

Всплала и продолжала:

— Не смеяться, но когда я была в последний раз дома, я, знаете, что сделала: мешочек земли русской привезла с маминной могилы. А вдруг я тут умру напароком? А я хочу, чтобы в моем гробу была русская земля... Катя хочет расстаться с детьми, а как же дети?

— Они, я думаю, к тому времени совсем французскими станут. И нет для них России. Русский язык с трудом знают. Слова куверкают. Только я вдальблываю...

Французы не любят транжирить

время (западный человек), время — деньги. А тут он показывал мне видоельный завод часа три... С гордостью. С объяснением. Вот чего мы добились. И расставался вроде неохотно... А каков дома?

Сказал: француз снова возвращается на землю. Да, да, общая тяга к земле везде. Коммуны интеллигентия организуют. Взывает к прошлому, к первобытности. Но тут: сельскохозяйственный труд стал квалифицированным. Зарплата примерно такая же.

Прошляна. 6 бутылок вина: обязательно в Ленинграде... Мы с Россией должны жить в мире. Может, и войны второй не было бы. Косась, я не довел это вино... Его распили француз...

Смотрел вслед: горделивый взгляд человека знающего себе цену.

И опять — Михаил. Везде, всюду Пряслины...

Не спрашивал про биографию. Тяжело: кажется, отца убили на войне. Но сколько в семье осталось — тоже не спрашивал. И не спрашивал про заработок. Об этом у французам говорить не принято.

Никогда так не чувствовал: везде люди одинаковы.

Восхищаясь благоустроенностью французской земли, Абрамов постоянно сопоставлял ее с нашей запущенностью. «Дороги великолепные, как парк, земля. А почему у нас дикость?.. Два недели мы катались... Все хорошо. Через поля. Через деревушки. И я дивился красоте Франции. А в Новгородчине?.. Сперва восхищаясь: нам бы так. А потом я закусал по дикости... И мне показался великим счастьем, что у нас есть тайны. Земля без тайн И то же между против и в Германии...»

Одновременно он задавал вопрос: «Неужели все так рационально на французской земле? Неужели нет никаких загадок, тайн?» Оказалось — есть.

Я перестал есть. Слушал, как Катя оказалась во Франции.

Все просто. Голос звенел, как вода в пороте: учился в Московском университете, уехала сюда.

— Как живешь? Домой хочу.

— А знаешь, как я спасаюсь, когда мне совсем невмоготу? Хожу на русское кладбище. Только это, наверно, ужасно. Я ведь пионеркой была, комсомолкой. А тут хожу по могилам. Все баронессы, графы, князья. Ненавидеть бы их надо. А у меня нет никакой ненависти. Для меня все это русские люди, изымающие на чужбине.

Помолчала и совсем по-бабьи добавила:

— У меня-то всегда есть возможность вернуться на Родину. Да я так и сделала — вот выращу детей до двадцати лет и скажу: живите как хотите, а я домой. Я все сделала для вас как мать. Да, у меня не отрезаны пути в Россию, а им-то как было... Им-то возврата не было.

Всплала и продолжала:

— Не смеяться, но когда я была в последний раз дома, я, знаете, что сделала: мешочек земли русской привезла с маминной могилы. А вдруг я тут умру напароком? А я хочу, чтобы в моем гробу была русская земля... Катя хочет расстаться с детьми, а как же дети?

— Они, я думаю, к тому времени совсем французскими станут. И нет для них России. Русский язык с трудом знают. Слова куверкают. Только я вдальблываю...

Французы не любят транжирить

Все смеются, все потешаются: дурачок.

Цыган изредка рвет струны, корчит року. Обидничать потешаются. Марина шепчет:

— Сейчас будет петь ужасную пошлятину, но сам искренно думает, что он артист.

А он артист и есть. Сердцем, душой поет. И вот чудо: пал языковой забор, отделяющий меня от французам. Я все понимаю. О радости жизни поет, о любви, о чувствах, о том, как хорошо пить вино и пр.

Песенки из фильмов, народные, песенки, которые пели популярные артисты в 20-е годы. И все они — сентиментальные, сердечные. И потому публике это смешно. Сегодня никто о таких вещах не говорит. Сегодня говорить о них — плохой тон.

А Жак-дурочок живет этим, этими чувствами. И когда-то вся Франция жила этими чувствами. А сегодня это — только в сердце дурачка. В сердце дурачка живет народная Франция.

Я слушал и ужасался. Куда ушла Франция? Да только ли Франция? А мы? Разве у нас не то же самое? Разве мы не забываем на один манер вместе с французамми?

Жак-дурочок очень близок Жанно. Кончил истъ Улук. И все дальнейшее, как у блаженного дурачка: отрезал два куска булки, намазал маслом и пошел пить кофе. (Это я тоже не сидел во Франции — с ульбем кофе.)

Марина знает этого французам, этого дурачка. Он считает себя артистом. И в ресторанчик устроился с условием — чтобы ему разрешили выступать с пеннем. Хозяйка смекнула: да ведь это неговорящий номер. Или нет — из человеколюбия разрешили выступать. Как бы то ни было, а Жак счастлив.

И счастливые посетители. Весело смеялись, позабавились. А главное-то это ли? Главное — что-то душевное, чистое омыло их очерствевшую душу. Правда, сами-то они этого не понимают.

Все тянемся к детству и стесняемся в себе детского. Смеемся над ним... Хотелось бы думать: Жак умный. Нет. Народное, большое жилищем себе часто избирает смешное и жалкое. Наверно, дурачки везде хранители доброты.

У него потребность быть артистом. А знает ли, что он нужен людям? Люди смеются, стыдятся, а приближились к святому, к добру.

Сохранилось в архиве Ф. Абрамова и немало коротких заметок.

«По словам Марины, самый красивый собор Франции. Готика XI—XII в. Бесподобные витражи. Нотр-Дам же-мане. Шарль благороден, делал людям со святоство в душе. Но как примирить людское величие католического храма, начисто перечеркнутого человека, с невероятной творческой мощью европейца? Католичество подавляло человека, но оно же, очевидно, и расправляло его. Ведь Ренессанс — вопреки же католической церкви?»

У нас — храм интимен. У нас в храме тепло и радостно человеку. Но из наших храмов человек выходил рабом».

«Деревянная певовка XI века. Романский стиль. Внутри росписи, очень близкие росписям православных храмов. Уютно, задумчиво. Наннвкий фриз снаружи. Массив: исток и всех народов просты, чисты, бесхитростны. Мы эту простоту и чистоту еще сохранили, а у французам где? В ресторанчике на Блошином рынке у Жака-дурочка?»

Романский стиль росписи показательно того, что и православие и католичество вышли из единого материнского лона, а потом, уже взрослыми, разошлись».

«Эпизент духовной жизни не во Франции — это признают сами французам. В России. Почему?»

ЧТО ОТЛИЧАЕТ РОССИЮ ОТ ФРАНЦИИ

1. Не хватает «дикости», первозданности в природе.

2. А может быть, и первозданности в человеке. Нет понятия совесть во французском языке. Есть только понятие «conscience» (сознание).